

Аркадий Стругацкий и Борис Стругацкий Хромая судьба

*Как пляшет огонек!
Сквозь запертые ставни
Осень рвется в дом.*

Райдзан

Авторы считают своим долгом предупредить читателя, что ни один из персонажей этого романа не существует (и никогда не существовал) в действительности. Поэтому возможные попытки угадать, кто здесь кто, не имеют никакого смысла. Точно так же вымышлены все упомянутые в этом романе учреждения, организации и заведения.

Пурга

В середине января, примерно в два часа пополудни, я сидел у окна и, вместо того чтобы заниматься сценарием, пил вино и размышлял о нескольких вещах сразу. За окном мело, машины боязливо ползли по шоссе, на обочинах громоздились сугробы, и смутно чернели за пеленой несущегося снега скопления голых

деревьев и щетинистые пятна и полосы кустарника на пустыре.

Москву заметало.

Москву заметало, как богом забытый полустанок где-нибудь под Актюбинском. Вот уже полчаса посередине шоссе буксовало такси, неосторожно попытавшееся здесь развернуться, и я представлял себе, сколько их буксует сейчас по всему огромному городу — такси, автобусов, грузовиков и даже черных блестящих лимузинов на шипованных шинах.

Мысли мои текли в несколько этажей, лениво и вяло перебивая друг друга. Думал я, например, о дворниках. О том, что до войны не было бульдозеров, не было этих звероподобных, ярко раскрашенных снегоочистителей, снегоотбрасывателей, снегозагретелей, а были дворники в фартуках, с метлами, с квадратными фанерными лопатами. В валенках. А снега на улицах, помнится, было не в пример меньше. Может быть, правда, стихии были тогда не те...

Еще думал я о том, что в последнее время то и дело случаются со мной какие-то унылые, нелепые, подозрительные даже происшествия, словно тот, кому надлежит ведать моей судьбою, совсем одурел от скуки и принялся кудесить, но только дурак он, куда деваться? — и кудеса у него получаются дурацкие, такого свойства, что ни у кого, даже у

самого шутника, никаких чувств не вызывают, кроме неловкости и стыда с поджиманием пальцев в ботинках.

И за всем этим не переставал я думать о том, что вот стоит рядом отодвинутая вправо моя пишущая машинка марки «Типпа» с заедающей от рождения буквой «э», и вставлена в нее незаконченная страница, и на странице читается:

«...Башни танков повернуты влево, они бьют из пушек по партизанским позициям, бьют методично, по очереди, чтобы не мешать друг другу пристреливаться. За башней переднего танка сидит на корточках Рудольф, командир танкистов, лейтенант СС. Он — мозг, дирижер этого оркестра смерти — жестами отдает команды идущим позади эсэсовским автоматчикам. Партизанские пули то и дело щелкают по броне, разбрызгивают грязь вокруг гусениц, вздымают столбики воды в темных лужах.

Отступ.

Передовой секрет партизан, крошечный окопчик у берега болота. Двое партизан — старик и молодой — растерянно глядят на приближающиеся танки. Банг! Банг! Банг! — удары танковых пушек».

Мне пятьдесят шесть лет, но я никогда не был в партизанах, и под танковую атаку мне попасть тоже не довелось. А ведь, строго говоря, я должен

был погибнуть на Курской дуге. Все наше училище погибло там, остались только: Рафка Резанов без обеих ног, Вася Кузнецов из пулеметного батальона и я, минометчик.

Нас с Кузнецовым за неделю до выпуска откомандировали в Куйбышев в ВИП. Видно, тот, кому надлежало ведать моей судьбой, был тогда еще полон энтузиазма по моему поводу, и ему хотелось посмотреть, что из меня может получиться. И получилось, что всю свою молодость я провел в армии и всегда считал своей обязанностью писать об армии, об офицерах, о танковых атаках, хотя с годами все чаще мне приходило в голову: именно потому, что жив я остался по совершенной случайности, мне-то как раз и не следовало бы обо всем этом писать.

Вот и об этом я подумал сейчас, глядя в окно на заметаемый Третий Рим, и я взял стакан и сделал хороший глоток. Около буксующего такси засело теперь еще две машины, и бродили там, пригибаясь в метели, тоскливые фигуры с лопатами.

Я стал смотреть на полки с книгами. Боже мой, внезапно подумал я, ощутив холод в сердце, ведь это же, конечно, последняя моя библиотека! Больше библиотек у меня уже не будет. Поздно. Эта моя библиотека — пятая и теперь уже последняя. От первой осталась у меня только одна книга, ныне сделавшаяся библиографической

редкостью: П. В. Макаров. «Адъютант генерала Май-Маевского». По этой книге недавно отснят был телевизионный сериал «Адъютант его превосходительства», картина неплохая и даже хорошая, только вот с самой книгой она почти не соотносится. В книге все куда серьезней и основательней, хотя приключений и подвигов куда как меньше. Этот Павел Васильевич Макаров был, как видно, значительным человеком, и приятно читать на обороте титульного листа дарственную надпись, сделанную химическим карандашом: «Дорогому товарищу А. Сорокину. Пусть эта книга послужит памятью о живой фигуре адъютанта ген. Май-Маевского зам. Командира Крымской Повстанческой. С искренним партизанским приветом П. В. Макаров. 6.IX 1927 года, г. Ленинград». Могу себе представить, как дорожил, наверное, этой книгой отец мой Александр Александрович Сорокин. Впрочем, ничего этого я не помню. И совершенно не помню, как книга ухитрилась уцелеть, когда дом наш в Ленинграде разбомбило и первая библиотека погибла вся.

От второй же библиотеки ничего не осталось вообще. Я собрал ее в Канске, где два года, до самого скандала со мной, преподавал на курсах. По обстоятельствам выезд мой из Канска был стремительным и управлялся свыше — решительно и непреклонно. Упаковать книги мы с Кларой тогда

успели, и даже успели их отправить малой скоростью в Иркутск, но мы-то с Кларой в Иркутске пробыли всего два дня, а через неделю были уже в Корсакове, а еще через неделю уже плыли на тральщике в Петропавловск, так что вторая библиотека моя так меня и не нашла.

До сих пор жалко, сил нет. Там у меня были четыре томика «Тарзана» на английском, которые я купил во время отпуска в букинистическом, что на Литейном в Ленинграде; «Машина времени» и сборник рассказов Уэллса из приложения ко «Всемирному следопыту» с иллюстрациями Фитингофа; переплетенный комплект «Вокруг света» за 1927 год... Я страстно любил тогда чтение такого рода. А было еще во второй моей библиотеке несколько книг с совершенно особенной судьбой.

В пятьдесят втором году по Вооруженным Силам вышел приказ списать и уничтожить всю печатную продукцию идеологически вредного содержания. А в книгохранилище наших курсов свалена была трофейная библиотека, принадлежавшая, видимо, какому-то придворному маньчжоугоского императора Пу И. И, конечно же, ни у кого не было ни желания, ни возможности разобраться, где среди тысяч томов на японском, китайском, корейском, английском и немецком языках, где в этой уже приплесневевшей груде

агнцы, а где козлища, и приказано было списать ее целиком.

...Был разгар лета, и жара стояла, и корчились переплеты в жарких черно-кровавых кучах, и чумазые, как черти в аду, курсанты суетились, и летали над всем расположением невесомые клочья пепла, а по ночам, невзирая на строжайший запрет, мы, офицеры-преподаватели, пробирались к заготовленным на завтра штабелям, хищно бросались, хватали, что попадало под руку, и уносили домой. Мне досталась превосходная «История Японии» на английском языке, «История сыска в эпоху Мэйдзи»... а-а, все равно: ни тогда, ни потом не было у меня времени все это толком прочитать.

Третью библиотеку я отдал Паранайскому дому культуры, когда в пятьдесят пятом году возвращался с Камчатки на материк.

И как это я тогда решился подать рапорт об увольнении? Ведь я был никто тогда, ничего решительно не умел, ничему не был обучен для гражданской жизни, с капризной женой и золотушной Катькой на шее... Нет, никогда бы я не рискнул, если бы хоть что-нибудь светило мне в армии. Но ничего не светило мне в армии, а ведь был я тогда молодой, честолюбивый, страшно мне было представить себя на годы и годы вперед все тем же лейтенантом, все тем же переводчиком, все

в той же дивизии.

Странно, что я никогда не пишу об этом времени. Это же материал, который интересен любому читателю. С руками бы оторвал это любой читатель, в особенности если писать в такой мужественной современной манере, которую я лично уже давно терпеть не могу, но которая почему-то всем очень нравится. Например:

«На палубе «Коньэй-мару» было скользко, и пахло испорченной рыбой и квашеной редькой. Стекла рубки были разбиты и заклеены бумагой...»

(Тут ценно как можно чаще повторять «были», «был», «было». Стекла были разбиты, морда была перекошена...)

«Валентин, придерживая на груди автомат, пролез в рубку. «Сэнтё, выходи», — строго сказал он. К нам вылез шкипер. Он был старый, сгорбленный, лицо у него было голое, под подбородком торчал редкий седой волос. На голове у него была косынка с красными иероглифами, на правой стороне синей куртки тоже были иероглифы, только белые. На ногах шкипера были теплые носки с большим пальцем. Шкипер подошел к нам, сложил руки перед грудью и поклонился. «Спроси его, знает ли он, что забрался в наши воды», — приказал майор. Я спросил. Шкипер ответил, что не знает. «Спроси его, знает ли он, что лов в пределах двенадцатимильной зоны

запрещен», — приказал майор».

(Это тоже ценно: приказал, приказал, приказал...)

«Я спросил. Шкипер ответил, что знает, и губы его раздвинулись, обнажив редкие желтые зубы. «Скажи ему, что мы арестовываем судно и команду», — приказал майор. Я перевел. Шкипер часто закивал, а может быть, у него затряслась голова. Он снова сложил ладони перед грудью и заговорил быстро и неразборчиво. «Что он говорит?» — спросил майор. Насколько я понял, шкипер просил отпустить шхуну. Он говорил, что они не могут вернуться домой без рыбы, что все они умрут с голоду. Он говорил на каком-то диалекте, вместо «ки» говорил «кси», вместо «цу» говорил «ту», понять его было очень трудно...»

Иногда мне кажется, что такое я мог бы писать километрами. Но скорее всего, это не так. На километры можно тянуть лишь то, к чему вполне равнодушен.

Через неделю, когда мы расставались, шкипер подарил мне томик Кикутикана и «Человек-тень» Эдогавы. Вот они стоят рядышком, Паранайскому дому культуры они были ни к чему. «Человек-тень» — первая японская книга, которую я прочитал от начала до конца. Нравится мне Хираи Таро, недаром он взял такой псевдоним: Эдогава Рампо — Эдгар Аллан По.

А четвертая библиотека осталась у Клары. И господь с ними обеими. Зря, ох зря заезжаю я сейчас в эту область. Сколько раз давал я зарок даже мысленно не относиться к тем, кто полагает себя мною униженными и оскорбленными. Я и так вечно кому-то что-то должен, не исполнил обещанного, подвел кого-то, разрушил чьи-то планы... и уж не потому ли, что вообразил себя великим писателем, которому все дозволено?

И стоило мне вспомнить об этом моем неизбывном окаянстве, как тут же зазвонил телефон, и председатель наш Федор Михеич с легко различимым раздражением в голосе осведомился у меня, когда я наконец намерен съездить на Банную.

Что за разгильдяйство, Феликс Александрович, говорил он мне. В четвертый раз я тебе звоню, говорил он, а тебе все как об стену горох. Ведь не гоняют же тебя, бумагомараку, говорил он, на овощехранилище свеклу гнилую перебирать. Ученых, докторов наук гоняют, говорил он, а тебя всего-навсего-то просят, что съездить на Банную, отвезти десять страничек на машинке, которые рук тебе не оторвут. И не для развлечения это делается, говорил он мне, не по чьей-то глупой воле, сам же ты голосовал за то, чтобы помочь ученым, лингвистам этим, кибернетикам-математикам... не исполнил... подвел... разрушил... вообразил себя...

Что оставалось мне делать? Я снова пообещал, что съезжу, сегодня же съезжу, и с лязгом и дребезгом гневно-укоризненным швырнули трубку на том конце провода. А я торопливо вылил из бутылки остатки вина в стакан и выпил, чтобы успокоиться, подумав с отчаянной отчетливостью, что не вина этого паршивого надо было купить мне вчера, а коньяку. Или, еще лучше, пшеничной водки.

Дело же было в том, что еще прошлой осенью наш секретариат решил удовлетворить просьбу некоего Института лингвистических, кажется, исследований, чтобы все московские писатели представили в институт этот по несколько страничек своих рукописей на предмет специальных изысканий, что-то там насчет теории информации, языковой какой-то энтропии... Никто у нас этого толком не понял, кроме разве Гарика Аганяна, который, говорят, понял, но втолковать все равно никому из нас не сумел. Поняли мы только, что требуется этому институту как можно больше писателей, а все остальное было неважно: сколько страниц — неважно; какие именно страницы и чего — тоже неважно; требуется только сходить к ним на Банную в любой рабочий день, прием с девяти до пяти. Возражений ни у кого тогда не оказалось, многие, наоборот, были даже польщены поучаствовать в научно-техническом

прогрессе, так что, по слухам, первое время на Банной были даже очереди и даже со скандалами. А потом все как-то сошло на нет, забылось как-то, и теперь вот бедняга Федор Михеевич раз в месяц, а то и чаще теревит нас, нерадивых, срамит и поносит по телефону и при личных встречах.

Конечно, ничего нет хорошего лежать бревном на пути научно-технического прогресса, а с другой стороны — ну, люди ведь мы, человеки: то я оказываюсь на Банной и вспоминаю же, что надо бы зайти, но нет у меня с собой рукописи; то уже и рукопись, бывало, под мышкой, и направляюсь я именно на Банную, а оказываюсь странным каким-то образом не на Банной, а, наоборот, в Клубе. Я объясняю все эти загадочные девиации тем, что невозможно, по-моему, относиться к этой затее, как и ко множеству иных затей нашего секретариата, с необходимой серьезностью. Ну какая, в самом деле, может быть у нас на Москве-реке языковая энтропия? А главное, при чем здесь я?

Однако же податься некуда, и я принялся искать папку, в которую, помнится, сложил черновики на позапрошлой неделе. Нигде на поверхности папки не было, и тут я вспомнил, что тогда намеревался зайти на Банную из «Зарубежного инвалида», куда отправился с Кап-Капычем к Нос-Носычу ругаться из-за статьи.

Но на обратном пути из «Инвалида» мы на Банную не попали, а попали мы все в ресторан «Псков». Так что искать теперь эту папку мне, пожалуй, смысла не было.

Но, слава богу, недостатка в черновиках я уже давно не испытываю. Кряхтя я поднялся с кресла, подошел к «стенке», к самой дальней секции, и кряхтя уселся рядом с нею прямо на пол. Ах, как много движений я могу теперь совершать только натужно кряхтя — как движений телесных, так и движений духовных.

(Кряхтя мы встаем ото сна. Кряхтя обновляем покровы. Кряхтя устремляемся мыслью. Кряхтя мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени. Кряхтя. «Упанишады», кажется. А может быть, и не совсем «Упанишады». Или не «Упанишады» вовсе.)

Кряхтя я откинул створку цокольного шкафчика, и на колени мне повалились папки, общие тетради в разноцветных клеенчатых обложках, пожелтевшие, густо исписанные листочки, скрепленные ржавыми скрепками. Я взял первую попавшуюся папку — с обломанными от ветхости углами, с одной только грязной тесемкой, с многочисленными полустертыми надписями на обложке, из которых разобрать можно было лишь какой-то старинный телефон, шестизначный, с буквой, да еще строчку иероглифов зелеными

чернилами: «Сэйэнэн дзидай-но саку» — «Творения юношеских лет». В эту папку я не заглядывал лет пятнадцать. Здесь все было очень старое, времен Камчатки и даже раньше, времен Канска, Казани, ВИПа — выдирки из тетрадей в линейку, самодельные тетради, сшитые суровой ниткой, отдельные листки шершавой желтоватой бумаги, то ли оберточной, то ли просто дряхлой до невозможности, и все исписано от руки, ни единой строчки, ни единой буквы на машинке.

«Угрюмый негр вывез из кабинета кресло с человеческой развалиной. Шеф плотно закрыл за ним дверь...»

Какой негр? Что за развалина? Ничего не помню.

«— Кстати, вы не заметили, были ли среди большевиков китайцы? — спросил вдруг шеф.

— Китайцы? М-м-м... Кажется, были. Китайцы, или корейцы, или монголы. В общем, желтые...»

Да-да-да-да-да! Вспоминаю! Это был у меня такой политический памфлет... Нет. Ничего не помню.

«Крепость пала, но гарнизон победил».

Так.

«— Видю тя! Видю тя! — взревел Кроличьи Яйца, обнаружив видимого противника... И новый выстрел из тьмы наверху...»

А-а-а, это же я из Киплинга переводил, «Сталки и компания». Тысяча девятьсот пятьдесят третий год. Камчатка. Я сижу в штабе и перевожу Киплинга, потому что за отсутствием видимого противника переводчику делать больше нечего.

«Кроличьи Яйца» — «Rabbit's Eggs». И нечего тут скалить зубы, ребята. Если бы Киплинг имел в виду то же, что и вы, он бы написал «Rabbit's Balls». Да, помучился я, помнится, с этим переводом, но школа для меня получилась отменная, нет лучше школы для переводчика, нежели талантливое произведение, описывающее совершенно незнакомый мир, конкретно локализованный в пространстве и времени...

А вот и «Случай в карауле». Тоже пятьдесят третий год и тоже Камчатка.

«Позже Беркутов, часовой у входа в караульное помещение, никак не мог вспомнить, что впервые заставило его насторожиться и крепче сжать оружие, напряженно вслушиваясь в невнятные шорохи теплой июльской ночи. Просто к шелесту листвы, шуму собственных шагов, сонному скрипу ветвей примешалось...» — ну, и так далее. Коротко говоря, под покровом ночи подкрались к часовому, напали на него, и он, не в силах отбиться, вызвал огонь на себя.

Был я тогда по литературным воззрениям моим великим моралистом, причем не просто

моралистом, но вдохновенным певцом воинского регламента. А потому, товарищи солдаты, главным в данном конкретном «Случае в карауле» было вот что:

«Как могло случиться, что Линько, так хорошо знавший уставы, допустил грубейшее нарушение уставов гарнизонной и караульной служб? А ты, Беркутов? Разве ты не оказался ротозеем, не заметив, куда ушел Симаков? И мы все — как мы не заметили, что Симакова не оказалось с нами, когда караул был поднят в ружье?»

До чего же странно все это перечитывать сегодня! Словно рассказывают тебе умиленно, как ты в три годика, не удержавшись, обделался при большом скоплении гостей. А ведь не три годика, а все двадцать восемь было мне тогда. Но до чего же хотелось увидеть свое имя напечатанным, почувствовать себя писателем, выставить напоказ печать любимца муз и Аполлона! И какое же это было горькое разочарование, когда «Суворовский натиск», дай бог ему здоровья, завернул мне мою рукопись под вежливым предлогом, что «Случай в карауле» не является типичным для нашей армии! Святые слова. За свою жизнь я простоял в караулах часов двести, и только однажды к шелесту листвы, шуму собственных шагов и в особенности к сонному скрипу ветвей примешались посторонние звуки, а именно: в кромешной тьме кто-то

напористо и страшно пер через ограждение из колючей проволоки, никак не реагируя на мои отчаянные вопли «Стой! Стой, кто идет? Стой, стрелять буду!». Подоспевшее на выстрелы караульное начальство обнаружило запутавшегося в колючей проволоке, убитого наповал козла. Сгоряча мне обещана была гауптвахта, но потом все обошлось...

Нет, не отдам я им мой «Случай в карауле» на препарирование. Пусть лежит. И снова подумал я, какая это все-таки дурацкая затея с языковой энтропией, если им все равно, что анализировать: «Случай в карауле» или про кресло с человеческой развалиной.

Я отложил «Творения юношеских лет» в сторону и взял другую папку, уже вполне современного вида, с хорошо сохранившимися, тщательно завязанными красными тесемками. На обложку наклеен был белый ярлык, а на ярлыке значилось: «Отрывки, неопубликованное, сюжеты, планы».

Я раскрыл папку и сразу же наткнулся на рассказ «Нарцисс», написанный в пятьдесят седьмом году. Этот рассказ я помню очень хорошо. Действующие лица там такие: доктор Лобс, Шуа дю-Гюрзель, граф Денкер, баронесса Люст... Упоминаются: Карт сэ-Шануа, «полновесный идиот, ставший импотентом в шестнадцать лет», а

также Стэлла Буа-Косю, родная тетка графа Денкера, садистка и лесбиянка. А соль этого рассказа в том, что упомянутый Шуа дю-Гюрзель, аристократ и гипнотизер необычайной силы, налетел на свое отражение в зеркале, когда «взгляд его был полон желания, мольбы, властного и нежного повеления, призыва к покорности и любви». И поскольку «воле Шуа дю-Гюрзеля не мог противостоять даже сам Шуа дю-Гюрзель», бедняга безумно влюбился сам в себя. Как Нарцисс. Дьявольски элегантный и аристократический рассказ. Там есть еще такое место: «К его счастью, после Нарцисса жил еще пастух Онан. Так что граф живет сам с собою, выводит себя в свет и кокетничает с дамами, вызывая, вероятно, у себя приятную возбуждающую ревность к самому себе».

Ай-яй-яй-яй-яй, какое манерное, похабное, салонное, махровое пшено! И подумать только, ведь проросло оно из того же кусочка души моей, что и мои «Современные сказки» полтора десятка лет спустя, из того же самого кусочка души, из которого растет сейчас моя Синяя Папка...

Нет, не дам я им моего «Нарцисса». Во-первых, потому, что всего один экземпляр. А во-вторых, совершенно никому не нужно знать, что Сорокин Феликс Александрович, автор романа «Товарищи офицеры» и пьесы «Равнение на середину!», не говоря уже о сценариях и армейских

очерках, пишет еще, оказывается, всякие порнографические фантазмагии.

А дам-ка я им вот что. Пятьдесят восьмой год. «Корягины». Пьеса в трех действиях. Действующие лица: Сергей Иванович Корягин, ученый, около 60 лет; Ирина Петровна, его жена, 45 лет; Николай Сергеевич Корягин, его сын от первого брака, демобилизованный офицер, около 30 лет. И еще семь действующих лиц — студенты, художники, слушатели военной академии... Действие происходит в Москве, в наши дни.

«Аня . Слушай, можно задать тебе один вопрос?»

Николай . Попробуй.

Аня . А ты не обидишься?

Николай . Смотря... Нет, не обижусь. Насчет жены?

Аня . Да. Почему ты с нею развелся?»

Очень хорошо. Антон Павлович. Константин Сергеевич. Владимир Иванович. Главное, не закончено и никогда закончено не будет. Вот это мы им и отдадим.

Отложивши за спину рукопись, я принялся запихивать и уминать в шкафчик все остальное, и тут в руку мне попала общая тетрадь в липком коричневом переплете, разбухшая от торчащих из нее посторонних листков. Я даже засмеялся от радости и сказал ей: «Вот где ты, голубушка!» —

потому что это была тетрадь заветная, драгоценная, потому что это был мой рабочий дневник, который я потерял в прошлом году, когда в последний раз наводил порядок в своих бумагах.

Тетрадь сама раскрылась у меня в руках, и обнаружился в ней мой заветный цанговый карандаш из Чехословакии, карандаш не простой, а счастливый; все сюжеты надлежало записывать только этим карандашом и никаким иным, хотя, признаться, был он довольно неудобен, потому что корпус у него лопнул в двух местах и грифель при неосторожном нажиме проваливался внутрь.

Я уже, оказывается, и забыл совсем, что начиналась эта тетрадка 30 марта почти ровно одиннадцать лет назад. Я писал тогда повесть «Железная семья» — о современных, мирных, так сказать, танкистах. Писалась она трудно, кровью и сукровицей она писалась, эта повесть. Помнится, я несколько раз выезжал в части по командировкам, правое ухо обморозил, и все равно толку никакого не получилось. Повесть отклонили. Спасибо, хоть аванс не отобрали.

Я листал страницы с однообразными записями:

«2.04. Сдел. 5 стр. Вечером 2 стр. Всего 135 стр.

3.04. Сдел. 4 стр. Вечер. 1 стр. Всего 140...»

Это у меня верный признак: если никаких

записей, кроме статистических, не ведется, значит, работа идет либо очень хорошо, либо на пропась. Впрочем, 7.04 — странная запись: «Писал жалобу в правительствующий сенат». И еще: 19.04. «Омерзительный, как окуроч в писсуаре». И 3.05: «Ничто так не взрослит, как предательство».

А вот и тот день, когда начал я придумывать современные сказки.

«21 мая 72 года. История про новосела-рабочего. У него работают циклевщик, грузчик, водопроводчик, все кандидаты наук. И все застревают в квартире. Циклевщик защешил палец в паркете, грузчика задвинули шкафом, водопроводчик хлебнул вместо спирта эликсиру и стал невидимым. И еще домовый. И строитель, замурованный в вентиляционной шахте. И приходит Катя».

Это еще не «Современные сказки», до «Современных сказочек» было тогда еще далеко. Справиться с этим сюжетом мне так и не удалось, и сейчас я даже не помню: какой новосел? почему домовый? что за эликсир?

Или вот еще сюжет того же времени.

«28.10.72. Человек (фокусник), которого все принимали за пришельца из Космоса». В те поры все вокруг словно бы с ума сошли по поводу летающих тарелоч. Только об этом и разговоров: братья по разуму, Баальбекская веранда,

Тассильские рисунки. И вот тогда мне придумалось: живет себе человек, ни о чем таком не думает, по профессии фокусник, причем фокусник очень хороший. И замечает он вдруг некое беспокоящее к себе внимание. Соседи по лестничной площадке странно с ним заговаривают, участковый заходит, интересуется реквизитом и туманно рассуждает насчет закона сохранения энергии. «Это исчезающее яйцо, — говорит он, — не согласуется у вас, гражданин, с современными представлениями о законах сохранения». Наконец, вызывают его в отдел кадров, а там у кадровика сидит какой-то гражданин, вроде бы даже знакомый, но с одним глазом. И кадровик принимается моего героя расспрашивать, сколько церквей в его родном Забубенске, да кому там памятник стоит на главной площади, да не помнит ли он, сколько на фасаде горсовета окон. А герой, разумеется, ничего этого не помнит, и атмосфера подозрительности все сгущается, и вот уже заводятся вокруг него разговоры о принудительном медосмотре... Чем должна была кончиться вся эта история, я придумать так и не сумел: охладел. И теперь очень жалко мне, что охладел.

Второго ноября записано: «Не работал, страдаю брюхом», а третьего — короткая запись: «Вполсвиста».

С теплой грустью листал я свой рабочий

дневник страницу за страницей.

«Человек — это душонка, обремененная трупом. Эпиктет».

«Цветок душистых прерий Лаврентий Палыч Берий».

«Против кого дружите?»

«Ректальная литература».

«Только те науки распространяют свет, кои способствуют выполнению начальственных предписаний. Салтыков-Щедрин».

«Гнал спирт из ногтей алкоголиков».

А это опять для «Современных сказок»:

«Кот Элегант. Пес по фамилии Верный, он же Верка. Мальчик-вундеркинд, почитывает «Кубические формы» Ю. Манина, очкарик; когда моет посуду, любит петь Высоцкого. Двенадцать лет в восьмеричной системе исчисления. Цитирует труды Иллича-Свитыча. Кот по утрам, вернувшись со спевки, стирает перчатки. Пса учат за едой не сопеть, не чавкать и пользоваться ножом и вилкой. Он демонстративно уходит из-за стола и шумно, с обидой, грызет кость под крыльцом. Кот Элегант о каком-то госте: «Этот Петровский-Зеликович совершенно похож на бульдога Рамзеса, которому я нынешней весной в кровь изодрал морду за хамское приставание»».

Еще фразы:

«Путал сентименталов с симменталами».

«Мария Павловна за Островским шубу шестнадцать лет носила, я у нее перекупила, стала чистить — три воши нашла, одна старая, еще по-аглицки говорит...»

Я запихал оставшиеся папки и бумаги в шкафчик и перебрался за стол. Это находит на меня иногда: беру старые свои рукописи или старые дневники, и начинает мне казаться, что вот это все и есть моя настоящая жизнь — исчерканные листочки, чертежи какие-то, на которых я изображал, кто где стоит и куда смотрит, обрывки фраз, заявки на сценарии, черновики писем в инстанции, детальнейше разработанные планы произведений, которые никогда не будут созданы, и однообразно-сухие: «Сделано 5 стр. Вечер. сдел. 3 стр.». А жены, дети, комиссии, семинары, командировки, осетринка по-московски, друзья-трепачи и друзья-молчуны — все это сон, фата-моргана, мираж в сухой пустыне, то ли было это у меня, то ли нет.

И вот сюжет хороший. Точной даты почему-то нет, начало семьдесят третьего года.

...Курортный городишко в горах. И недалеко от города пещера. И в ней — кап-кап-кап — падает в каменное углубление Живая Вода. За год набирается всего одна пробирка. Только пять человек в мире знают об этом. Пока они пьют эту воду (по наперстку в год), они бессмертны. Но

случайно узнает об этом шестой. А Живой Воды хватает только на пятерых. А шестой этот — брат пятого и школьный друг четвертого. А третий, женщина, Катя, жарко влюблена в четвертого и ненавидит за подлость второго. Клубочек. А шестой вдобавок великий альтруист и ни себя не считает достойным бессмертия, ни остальных пятерых...

Помнится, я не написал эту повесть потому, что запутался. Слишком сложной получалась система отношений, она перестала помещаться у меня в воображении. А получиться могло бы очень остро: и слежка за шестым, и угрозы, и покушения, и все на этакой философско-психологической закваске, и превращался в конце мой альтруист-пацифист в такого лютого зверя, что любо-дорого смотреть, и ведь все от принципов своих, все от возвышенных своих намерений...

В ту минуту, когда я читал наброски по этому сюжету, раздался в передней звонок. Я даже вздрогнул, но тут же мною овладело радостное предчувствие. Теряя и подхватывая на ходу тапочки, я устремился в переднюю и открыл дверь. Так и есть, явилась она, волшебница моя добрая, долгожданная, румяная с метели, запорошенная снегом. Клавочка. Вошла, блестя зубками, поздоровалась и прямо направилась на кухню, а я уже бежал, теряя тапочки, за паспортом, и

получилось мне сто девяносто шесть рублей прописью и одиннадцать копеек цифрами из Литконсультации за рецензии на бездарный ихний самотек. Как всегда, вернул я Клавочке рубль, как всегда, она сперва отказывалась, а потом, как всегда, приняла с благодарностью, и, как всегда, провожая ее, я сказал ей: «Приходите, Клавочка, почаще» — а она ответила: «А вы пишете побольше».

Кроме денег оставила Клавочка на кухонном столе длинный, пестрый от наклеек и марок, с красно-бело-синим бордюром авиапочты конверт. Писали из Японии. «Господину Фериксу Арександровичу Сорокину». Я взял ножницы, срезал край конверта и извлек два листка тонкой рисовой бумаги. Писал мне некто Рю Таками, и писал по-русски.

«Токио, 25 декабря 1981 года. Многоуважаемый господин Ф. А. Сорокин! Если вы помните меня, мы познакомились весной 1975 года в Москве. Я был в японской деригации писателей, вы сидели рядом и любезно подарили мне вашу книгу «Современные сказки». Книга очень мне понравилась сразу. Я неоднократно обращал в наше издательство «Хаякава» и журнал «Эс-Эф магадзин», но наши издатели консервативны. Однако теперь благодаря тому, что Ваша книга пользуется успехом в США, наконец наше

издательство стали обращать внимание на Вашу книгу и по-видимому иметь намерение издать Вашу книгу. Это значит, что наша издательская культура находится под сильным влиянием американской и это — наша действительность. А как бы ни то было, то новое направление в нашем издательском мире так радостно и для Вас, и для меня. По плану моей работы я кончаю перевод Вашей книги в феврале будущего года. Но, к сожалению, я не понимаю некоторых слов и выражений (Вы найдете их в приложении). Я хотел бы просить Вас помочь. В началах каждой сказки процитировано фразы из произведения разных писателей. Если ничто Вам не помешает, прошу Вас сообщить мне, в каких названиях и в каких местах в них я смогу найти их. Я хочу познакомить Вас и Вашу литературную деятельность с нашими читателями как можно подробнее, но, к сожалению, у меня теперь совсем нет последних новостей о них. Я был бы очень рад, если Вы сообщили мне теперешнее положение Вашей работы и жизни и послали Ваши фотографии. И я желаю читать статьи и критики о Вашей литературе и узнать, где (в каких журналах, газетах и книгах) я смогу найти их. Мне хотелось бы просить Вас оказать мне многие помощи, которые я просил выше. Заранее благодарю Вас за помощь. С искренним уважением» (подпись иероглифами).

Я прочитал это письмо дважды и через некоторое время поймал себя на том, что благосклонно улыбаюсь, подкручивая себе усы обеими руками. Честно говоря, я совершенно не помнил этого японца и тем не менее испытывал к нему сейчас чувство живейшей симпатии и даже, пожалуй, благодарности. Вот и до Японии добрались мои сказки. Так сказать, боку-но отогибанаси-ва Ниппон-мадэ-мо ятто итадакимасьта...

Разнообразные чувства обуревали меня — вплоть до восхищения самим собою. И в волнах этих чувств я без труда различал ледяную струю жестокого злорадства. Я снова вспоминал иронические улыбочки, и недоуменные риторические вопросы в критических обзорах, и пьяные подначки, и грубовато-дружественные: «Ты что же это, старик, а? Совсем уже, а?» Теперь это, конечно, дела прошлые, но я, оказывается, ничего не забыл. И никого не забыл. А еще тут же вспомнилось мне, что когда выступаю я в домах культуры или на предприятиях, так если меня в зале кто-нибудь и знает, то не как автора «Товарищей офицеров» и уж, конечно, не как автора многочисленных моих армейских очерков, а именно как сочинителя «Современных сказок». И неоднократно мне даже присылали записки: «Не родственник ли Вы Сорокина, написавшего

«Современные сказки»?»

Я вспомнил о втором листке из конверта и, развернув, бегло его проглядел. Сначала недоумения Рю Таками позабавили меня, но не прошло и нескольких минут, как я понял, что ничего особенно забавного мне не предстоит.

А предстоит мне объяснить, да еще в письменном виде, да еще японцу, что означают такие, например, выражения: «хватить шилом патоки», «цвести, как майская роза», «иметь поповый вид», «полные штаны удовольствия», «начистить ряшку» и «залить зенки»... Но все это было еще полбеды, и не так уж, в конце концов, трудно было объяснить японцу, что «банан» на жаргоне школьников означает «двойку как отметку, в скобках — оценку», а «забойный» означает всего-навсего «сногшибательный» в смысле «великолепный». А вот как быть с выражением «фиг тебе»? Во-первых, фигу, она же дуля, она же кукиш, надлежало самым решительным образом отмежевать от плода фигового дерева, дабы не подумал Таками, что слова «фиг тебе» означают «подношу тебе в подарок спелую, сладкую фигу». А во-вторых, фигу, она же дуля, она же кукиш, означает для японца нечто иное, нежели для европейца или, по крайней мере, для русского. Этой несложной фигурой из трех пальцев в Японии когда-то пользовались уличные дамы, выражая

готовность обслужить клиента...

Я и сам не заметил, как эта работа увлекла меня.

Вообще говоря, я не люблю писать писем и положил себе за правило отвечать только на те письма, которые содержат вопросы. Письмо же Рю Таками содержало не просто вопросы, оно содержало вопросы деловые, причем по делу, в котором я сам был заинтересован. Поэтому я встал из-за стола только тогда, когда закончил ответ, перепечатал его (выдернув из машинки незаконченную страницу сценария), вложил в конверт, заклеил и надписал адрес.

Теперь у меня было по крайней мере два повода выйти из дому.

Я оделся, кряхтя натянул на ноги башмаки на «молниях», сунул в нагрудный карман пятьдесят рублей, и тут раздался телефонный звонок.

Сколько раз я твердил себе: не бери трубку, когда собираешься из дому и уже одет. Но ведь это же Рита могла вернуться из командировки, как же мне было не взять трубку? И взял я трубку, и сейчас же раскаялся, ибо звонила никакая не Рита, а звонил Леня Баринов по прозвищу Шибзд.

У меня есть несколько приятелей, которые специализируются по таким вот несвоевременным телефонным звонкам. Например, Слава Крутоярский звонит мне исключительно в те

моменты, когда я ем суп — не обязательно, впрочем, суп. Это может быть борщ или, скажем, солянка. Тут главное, чтобы половина тарелки была уже мною съедена, а оставшаяся половина как следует остыла за время телефонной беседы. Гарик Аганян выбирает время, когда я сижу в сортире и притом ожидаю важного звонка. Что же касается Лени Баринова, то его специальность — звонить либо когда я собираюсь выйти и уже одет, либо когда собираюсь принять душ и уже раздет, а паче всего — рано утром, часов в семь, позвонить и низким подпольным голосом отрывисто спросить: «Как дела?»

Леня Баринов по прозвищу Шибзд спросил меня низким подпольным голосом:

— Как дела?

— Собираюсь уходить, — сказал я сухо, но это был неверный ход.

— Куда? — сейчас же осведомился Леня.

— Леня, — сказал я теперь уже просительно. — Может быть, потом созвонимся? Или ты по делу?

Да, Леня звонил по делу. И дело у него было вот какое. До Лени дошел слух (до него всегда доходят слухи), будто всех писателей, которые не имели публикаций в течение последних двух лет, будут исключать. Я ничего не слышал по этому поводу? Нет, точно ничего не слышал? Может

быть, слышал, но не обратил внимания? Ведь я никогда не обращаю внимания и потому всегда тащусь в хвосте событий... А может, исключать не будут, а будут отбирать пропуск в Клуб? Как я думаю?

Я сказал, как я думаю.

— Ну, не груби, не груби, — примирительно попросил Леня. — Ладно. А куда ты идешь?

Я рассказал, что иду отправить заказное письмо, а потом на Банную. Лене все это было неинтересно.

— А потом куда? — спросил он.

Я сказал, что потом, наверное, зайду в Клуб.

— А зачем тебе сегодня в Клуб?

Я сказал, закипая, что у меня в Клубе дело: мне там надо дров наколоть и продуть паровое отопление.

— Опять грубишь, — произнес Леня грустно. — Что вы все такие грубые? Кому ни позвонишь — хам. Ну, не хочешь по телефону говорить — не надо. В Клубе расскажешь. Только учти, денег у меня нет...

Потом я повесил трубку и посмотрел в окно. Уже совсем смеркалось, впору было зажигать лампу. Я сидел у стола в пальто и в шапке, в тяжелых своих, жарких ботинках. И идти мне теперь уже никуда не хотелось совсем. Собственно, письмо в Японию можно послать и не заказным,

ничего с ним не сделается, наляпаю побольше марок и брошу в ящик. И Банная подождет, с нею тоже ничего не сделается до завтра... Ты посмотри, какая вьюга разыгралась, вовсе ничего не видно. Дом напротив — и того не видно, только слабо светятся мутные желтые огоньки. Но ведь сидеть вот так просто, всухомятку, с двумя сотнями рублей в кармане — тоже глупо и даже расточительно. А сбегая-ка я вниз, благо все равно одет.

И я сбегал вниз, в нашу кондитерскую. В нашу странную кондитерскую, где слева цветут на прилавке кремовые розы тортов, а справа призывно поблескивают ряды бутылок с горячительными напитками. Где слева толпятся старушки, дамы и дети, а справа чинной очередью стоят вперемежку солидные портфеленосцы-кейсовладельцы и зверообразные, возбужденно-говорливые от приятных предвкушений братья по разуму. Где слева мне не нужно было ничегошеньки, а справа я взял бутылку коньяку и бутылку «Салюта».

И, поднимаясь в лифте к себе на шестнадцатый этаж, прижимая локтем к боку бутылки, вытирая свободной ладонью с лица растаявший снег, я уже знал, как я проведу этот вечер. То ли пурга, из которой я только что выскочил, слепая, слепящая, съевшая остатки дня пурга была тому причиной, то ли приятные предвкушения, которых я, как и все мои братья по

разуму, не чужд, но мне стало ясно совершенно: раз уж суждено мне закончить этот день дома и раз уж Рита моя все не возвращается, то не стану я звонить ни Гоге Чачуа, ни Славке Крутоярскому, а закончу я этот день по-особенному — наедине с самим собой, но не с тем, кого знают по комиссиям, семинарам, редакциям и клубному ресторану, а с тем, кого не знают нигде.

Мы с ним сейчас очистим стол на кухне, расставим на плетеных салфетках бутылки и алюминиевые формочки с заливным мясом от гостиницы «Прогресс», мы включим по всей квартире весь свет — пусть будет светло! — и перетащим из кабинета торшер, мы с ним откроем единственный ящик стола, запираемый на ключ, достанем Синюю Папку и, когда настанет момент, развяжем зеленые тесемки.

Пока я отряхивался от снега, пока переодевался в домашнее, пока осуществлял свою нехитрую предварительную программу, я неотрывно думал, как поступить с телефоном. Выяснилось вдруг, что именно нынче вечером мне могли позвонить, более того — должны были позвонить многие и многие, в том числе и нужные. Но, с другой стороны, я ведь не вспомнил об этом, когда всего полчаса назад намеревался провести вечер в Клубе, а если и вспомнил бы, то не посчитал бы эти звонки за достаточно нужные. И в

самый разгар этих внутренних борений рука моя сама собой протянулась и выключила телефон.

И сразу стало сугубо уютно и тихо в доме, хотя по-прежнему брэнчало за стеной неумелое пианино и доносилось через отдушину в потолке кряканье и бормотанье магнитофонного барда.

И вот момент настал, но я не торопился, а некоторое время еще смотрел, как бьет в оконное стекло с сухим шелестом из черноты сорвавшаяся с цепи вьюга. А жалко, право же, что там у меня не бывает вьюг. А впрочем, мало ли чего там не бывает. Зато там есть многое из того, чего не бывает здесь.

Я неторопливо развязал тесемки и откинул крышку папки. Мельком я и скорбно, и радостно подумал, что не часто позволяю себе это, да и сегодня бы не позволил, если бы не... что? Вьюга? Леня Шибзд?

Заглавия на титульном листе у меня не было. Был эпиграф:

Я в третьем круге, там, где дождь струится,
Проклятый, вечный, грузный, ледяной;
Всегда такой же, он все так же длится...

.....

Хотя проклятым людям, здесь живущим,
К прямому совершенству не прийти,
Их ждет полнее бытие в грядущем...

И была наклеена на титульный лист дрянная фоторепродукция: под нависшими ночными тучами замерший от ужаса город на холме, а вокруг города и вокруг холма обвился исполинский спящий змей с мокро отсвечивающей гладкой кожей.

Но не эту картинку, знакомую многим и многим, я сейчас видел перед собой, а видел я сейчас то, чего не видел кроме меня и видеть не мог никто во всем свете. Во всей Вселенной никто. Откинувшись на спинку дивана, вцепившись руками в край стола, вглядывался я в улицы, мокрые, серые и пустые, в палисадники, где тихо гибли от сырости яблони... покосившиеся заборы, и многие дома заколочены, под карнизами высыпала белесая плесень, вылиняли краски, и всем этим безраздельно владеет дождь. Дождь падает просто так, дождь сеется с крыш мелкой водяной пылью, дождь собирается в туманные крутящиеся столбы, волочащиеся от стены к стене, дождь с урчанием хлещет из ржавых водосточных труб... черно-серые тучи медленно ползут над самыми крышами, а людей на улицах нет, человек — незванный гость на этих улицах, и дождь его не жалует.

У меня их здесь десять тысяч человек в моем городе — дураков, энтузиастов, фанатиков, разочарованных, равнодушных, множество чиновников, вояк, добропорядочных буржуа,

полицейских, шпииков. Детей. И неопишваемое наслаждение доставляло мне управлять их судьбами, приводить их в столкновение друг с другом и с мрачными чудесами, в которые они у меня оказались замешаны...

Еще совсем недавно мне казалось, что я покончил с ними. Каждый у меня получил свое, каждому я сказал все, что я о нем думаю. И наверное, именно эта определенность постепенно подступила мне к горлу, породила во мне душное беспокойство и недовольство. Нужно мне было что-то еще. Еще какую-то картинку, последнюю, надо было мне нарисовать. Но я не знал — какую, и временами мне становилось тоскливо и страшно при мысли о том, что я так никогда этого и не узнаю. Что ж, может быть, я никогда не закончу эту мою вещь, но я буду над нею думать, пока не впаду в маразм, а возможно, и после этого.

Клянешься ли ты и далее думать и придумывать про свой город до тех пор, пока не впадешь в полный маразм, а может быть, и далее?

А куда мне деваться? Конечно, клянусь, сказал я и раскрыл рукопись.

Приключение

С вечера я не принял сустанк, и не потому что забыл, а как-то осенило меня, что сустанк нельзя

запивать спиртным. И поэтому с утра я чувствовал себя очень вялым, апатичным и непрерывно преодолевал себя: умывался через силу, одевался через силу, прибирался, завтракал... Коньяку осталось больше половины, и, наверное, «Салюта» на стакан хватило бы, я поколебался, не опохмелиться ли мне, однако тут же, очень некстати, вспомнил, что главным признаком алкоголизма нынешние врачи полагают синдром похмелья, и похмеляться не стал. Боже мой, подумал я, как это хорошо, что нет надо мной Клары и что я вообще один!

И конечно же, тут же позвонила Катька и, конечно же, озабоченно, однако не без яду, осведомилась: «Опять сосуды расширял?» И конечно же, опять пришлось мне врать и оправдываться, тем более что насчет постройки ей шубы в нашем ателье я опять ничего не предпринял. Впрочем, звонила Катька вовсе не насчет шубы: оказалось, что она намерена зайти ко мне сегодня или завтра вечером и принести мой продуктовый заказ. Только и всего. Мы повесили трубки, и я на радостях плеснул себе с палец коньяку и слегка поправился.

А за окном погода сделалась чудесная. Вьюги вчерашней не было и в помине, солнце выглянуло, которого не видно было с самого Нового года, прихотливо изогнутый сугроб у меня в лоджии

весело искрился, и подморозило, видимо, потому что за каждой машиной на шоссе тянулся шлейф белого пара. Давление установилось, и не усматривалось никакой причины, мешающей сесть за сценарий.

Впрочем, предварительно я трижды позвонил в ателье — все три раза без всякого толка. Надо сказать, звонки эти носили чисто ритуальный характер: если человек всерьез намерен построить для дочери шубу, ему надлежит идти в ателье самому, производить массу аллегорических телодвижений и произносить массу аллегорических фраз, все время рискуя нарваться либо на открытую грубость, либо на подленькую увертливость.

Затем я сел за машинку и начал прямо с фразы, которую придумал еще вчера, но не пустил в ход, а сберег специально для затравки на сегодня: «Это не по ним, это по их товарищам справа...» И сначала все пошло у меня лихо, бодро-весело, по-суворовски, но уже через час с небольшим я обнаружил, что сижу в расслабленной позе и тупо, в который уже раз перечитываю последний абзац: «А Комиссар все смотрит на горящий танк. Из-под очков текут слезы, он не вытирает их, лицо его неподвижно и спокойно».

Я уже чувствовал, что застрял, застрял надолго и без всякого просвета. И не в том было дело, что я не представлял себе, как события будут

развиваться дальше: все события я продумал на двадцать пять страниц вперед. Нет, дело было гораздо хуже: я испытывал что-то вроде мозговой тошноты.

Да, я отчетливо видел перед собой и лицо Комиссара, и полуобрушенный окоп, и горящий «тигр». Но все это было словно из папье-маше. Из картона и из раскрашенной фанеры. Как на сцене захудалого дома культуры.

И в который раз я подумал с унылым удовлетворением, что писать должно либо о том, что ты знаешь очень хорошо, либо о том, чего не знает никто. Большинство из нас держится иного мнения — ну и что же? Правильно сказала дочь моя Катька: надо всегда оставаться в меньшинстве.

Да черт же подери, подумал я почти с отчаянием. Ведь есть же у нас люди, которым это дано, которым отпущено это судьбою в полной мере... Вергилии наши по катакомбам ни за что не забываемого огненно-ледяного ада... Симонов у нас есть, нежно мною любимый Константин Михайлович, и Василь Быков, горький мастер, и несравненный Богомолов, и поразительный «Сашка» есть у Вячеслава Кондратьева, и Бакланов Гриша, тоже мой любимый, и ранний Бондарев... Да мне их всех и не перечислить. И не надо. К чему мне их перечислять, мне плакать надо, что никогда мне не быть среди них, — не заслужил я этого

кровью, потом, грязью окопной не заслужил и теперь никогда уже не заслужу. Вот и выходит, что никакой нет разницы между маститым Феликсом Сорокиным и мальчишечкой пятьдесят четвертого года рождения, взявшемся вдруг писать о Курской дуге, — не о БАМе, заметьте, писать взявшемся и не о склоке в родном НИИ, а о том, что видел он только в кино, у Озерова видел. Такие вот пироги, Феликс Александрович, — если откровенно...

Я терпеть не могу таких вот пробуксовок в работе, я от них делаюсь больной. И я тут же решил, что не дам загнать себя в уныние. В конце концов, у меня и без того много дел, нечего сидеть и киснуть. Меня ждут на Банной.

Торопливо, сминая страницы, я засунул черновики сценария в специально отведенный для него пластиковый футляр и принялся одеваться. «В движенье мельник должен жить...» — бормотал я, с кряхтеньем натягивая башмаки. «Вода примером служит нам!..» — спел я во весь голос, укладывая в папку блистательную пьесу «Корягины». Я отгонял страх. «В крайнем случае отдам аванс!» — громко сказал я, натягивая куртку. Но дело было не в авансе. Что-то слишком уж часто в последнее время стали нападать на меня такие вот пробуксовки, а если говорить прямо — приступы отвращения к работе, которая меня кормит.

Стоя на лестничной площадке в ожидании

лифта, я, чтобы наверняка отвлечься, стал думать о том, что вот уже третий день пошел, как со мной не случается ничего нелепого и дурацкого, — похоже, тот, кому надлежит ведать моей судьбой, совсем исяк и стал не годен даже на дурацкие кудеса... А лифты все не поднимались, ни большой, ни малый, и я постучал по створкам одного и другого и прислушался. Снизу гулко доносились невнятные голоса. Тогда я чертыхнулся и стал спускаться по лестнице.

На площадке десятого этажа я увидел, что дверь в квартиру Кости Кудинова, поэта, настежь распахнута и из нее выдвигается обширная спина в белом халате. «Ну вот, опять», — подумал я сразу же. И не ошибся. Костю Кудинова выносили на носилках, и большой лифт был раскрыт, чтобы вместить его. Костя был бледен до зелени, мутные глаза его то закатывались, то сходились к переносице, испачканный рот был вяло распушен.

Мне показалось вначале, что Костя пребывает без сознания, и я не могу сказать, чтобы зрелище это горько потрясло меня или хотя бы расстроило. Мы с ним были всего лишь знакомые — соседи по дому и члены одной писательской организации, насчитывающей несколько тысяч человек. Как-то десяток лет назад во время какой-то кампании он публично выступил против меня — вздорно, конечно, выступил, однако довольно едко. Правда,

потом он принес извинения, сказавши, что спутал меня с другим Сорокиным, с Сорокиным из детской секции, так что с тех пор мы при встречах приветливо здороваемся, обмениваемся слухами и досадуем, что никак не удастся собраться и посидеть. Но в остальном был он мне вообще-то никем, и вдобавок, поглядев на него, решил было я, что он попросту опять набрался сверх своей обычной меры. Словом, если бы все было предоставлено равнодушной природе, Костю Кудинова, поэта, должны были бы сейчас занести в приготовленный лифт, створки бы сдвинулись, скрыв его от моих глаз, я уточнил бы у врача, что же все-таки произошло, а вечером рассказал бы об этом небольшом происшествии кому-нибудь в Клубе.

Но тот, кому надлежит ведать моей судьбой, был, оказывается, еще полон сил.

— Феликс! — произнес Костя таким отчаянным голосом, что санитары враз остановились, ожидая продолжения. — Сам бог тебя ко мне послал, Феликс...

Тут глаза его закатились, и он умолк. Но едва санитары, не дождавшись продолжения, стронулись с места, как он заговорил снова. Говорил он сбивчиво, не очень внятно, срываясь с хрипа на шепот, и все требовал, чтобы я записывал, и я, конечно, послушно раскрыл папку, достал

авторучку и стал записывать на клапане: «М. Сокольники, Богородское шоссе, авт. 239, Институт, Мартинсон Иван Давыдович, мафусаллин». То есть мне предстояло сейчас переться на противоположный край Москвы, отыскать где-то на Богородском шоссе какой-то неведомый институт, в институте добраться до некоего Мартинсона и попросить у него для Кости этого самого мафусаллина. («Хоть две-три капли... Мне не полагается, но все равно, пусть даст... Помру иначе...») Затем створки лифта сдвинулись, и я остался на площадке один.

Буду совершенно откровенен. Не было у меня совсем ни жалости какой-либо, ни тем более желания проделывать эти сложнейшие эволюции в пространстве и в моем личном времени. С какой стати? Кто он мне? Полузнакомый, упившийся поэт! Да еще выступавший против меня — пусть по ошибке, но ведь против, а не за! Я бы, конечно, никуда сейчас не поехал, в том числе и на Банную, слишком все это меня расстроило и раздражило. Но тут из Костиной квартиры вышел и встал рядом со мною у двери лифта еще один человек в белом халате. Судя по фонендоскопу и роговым очкам — врач, добрый доктор Айболит с незакуренной «беломориной» в углу рта. И я спросил его, что с Костей, и он ответил мне, что у Кости подозрение на ботулизм, тяжелое отравление консервами. Я

испугался. Я сам травился консервами на Камчатке, чуть богу душу не отдал.

Створки лифта раздвинулись, мы с врачом вошли, и я спросил, сверившись с записью на клапане папки, поможет ли Косте этот самый мафусаллин. Врач непонимающе на меня взглянул, и я прочитал ему по слогам: ма-фу-сал-лин. Однако врач ничего про мафусаллин не знал, и я сделал вывод, что это лекарство новое и даже новейшее.

У «неотложки» мы расстались. Несчастливого Костю повезли в Бирюлево, в новую больницу, а я направился к метро.

Ехать мне никуда не хотелось по-прежнему. Я честно признался себе — это было как откровение, — что Костя никогда не был мне симпатичен: совершенно чужой, сущеглупый и бесталаный человек. Ботулизм его вызывал, правда, определенное сочувствие, но и раздражение он тоже вызывал, и с каждой минутой раздражение это становилось сильнее сочувствия. Какого черта я, пожилой и больной человек, должен тащиться через весь город в какой-то неведомый институт к какому-то неведомому Мартинсону за каким-то неведомым мафусаллином, о котором даже врач ничего не знает... бродить, расспрашивать, искать, а потом искательно упрашивать — ведь Костя сам признал, что ему не полагается... и ведь непременно выяснится, что никакого такого

института нет, а если институт и есть, то нет в нем никакого Мартинсона... что все это вообще Костин бред, полуобморочные видения, отравлен же человек, и отравлен сильно...

Увязая в не убранном дворниками снегу, то и дело оскальзываясь на скрытых ледяных рывтинах, я пробирался к метро, придумывая себе все новые и новые оправдания, хотя знал уже совершенно твердо, что чем больше оправданий я придумаю, тем вернее повезет меня кривая через всю Москву за Сокольники к Мартинсону Ивану Давыдовичу, а потом с тремя каплями драгоценного мафусаллина обратно через всю Москву в Бирюлево спасти совершенно мне ненужного и несимпатичного Костю Кудинова, поэта...

Слава богу, метро от нас до Сокольников без пересадок, народа в это время (около двух) немного, я забрался в угол и закрыл глаза. Мысли мои приняли несколько иное, профессиональное, если можно так выразиться, направление.

В который уже раз подумал я о том, что литература, даже самая реалистическая, лишь очень приблизительно соответствует реальности, когда речь идет о внутреннем мире человека. Я попытался припомнить хоть одно литературное произведение, где герой, оказавшийся в моем или похожем положении, позволил бы себе сколько-нибудь отчетливо, без всяких экивоков,

выразить нежелание ехать. Читатель не простил бы ему этого никогда. Пусть герой все равно бы поехал, преодолел бы тысячи препятствий, совершил бы чудеса героизма, но все равно так и остался бы с неким неопрятным пятном на образе — в глазах читателя и уж тем более в глазах издателя.

Вообще-то положительному герою в наши либеральные времена разрешается иметь многие недостатки. Ему даже пьяницей дозволяется быть и даже, черт подери, стянуть плохо лежащее (бескорыстно, разумеется). Он может быть плохим семьянином, разгильдяем и неумехой, он может быть человеком совершенно легкомысленным и поверхностным. Одно запрещено положительному герою: практическая мизантропия. Легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, нежели литературному герою стать положительным, если он, герой, хоть раз позволит себе пройти равнодушно мимо птички с перебитым крылышком. Вот и выходит, что я, Феликс Александрович Сорокин, по всем литературным нормам — как отечественным, так и зарубежным — в лучшем случае являюсь нравственным калекой.

Этот вывод развеселил меня и привел в хорошее настроение. Во-первых, сегодня опять можно было не ехать на Банную под предлогом не только вполне законным, но и высокогуманным.

Во-вторых... Во-вторых, достаточно во-первых. На обратном пути я возьму такси, деньги, слава богу, есть. Смотаюсь в Бирюлево, отдам этот мафусаллин и на том же такси прямиком в Клуб...

Я стал задремывать и подумал сквозь дрему, какое же, однако, странное название у этого новейшего лекарства. Мафусаллин. Оно вызывает ассоциации. Турция. Ближний Восток почему-то. Мафусаил. Библия?..

Институт я нашел без труда. Автобус остановился напротив проходной, в обе стороны от которой тянулся вдоль пустынной улицы бесконечный высоченный забор. Вывески на проходной не было, а у крыльца стоял, руки в карманы, какой-то мужчина без пальто, но в шапке-ушанке с задранными ушами. Он покосился на меня, но ничего не сказал, и я вступил в жарко натопленную будку. Наверное, мне следовало, не глядя ни направо, ни налево, протопать себе по коридорчику и дальше наружу, но я так не умею. Я сунулся лицом к крошечному окошечку и спросил искательно:

— К Мартинсону Ивану Давыдовичу как мне пройти?

За окошечком пил из блюдца чай вприкуску сморщенный старикашка в засаленном кителе. Он неторопливо поставил дымящееся блюдце на стол, достал из-под стола засаленную фуражечку с

кантом и аккуратно напялил ее себе на плешь.

— Пропуск, — сказал он.

Я сказал, что пропуска у меня нет. Это признание подтвердило самые худшие его опасения. Словно с утра еще его предупредили, что полезет сегодня один без пропуска, так вот его ни в коем случае пускать нельзя. Он выбрался из-за стола, выдвинулся в коридорчик и загородил собой турникет. Я принялся ныть и клянчить. Чем жалобней я ныл, тем непреклоннее становился жестокий старик, и длилось это до той минуты, пока я не осознал, что передо мной непреодолимое препятствие, а потому можно с легким сердцем гнать отсюда прямо на Банную и затем в Клуб. Я с наслаждением обозвал старикашку древней гнидой и, очень довольный, повернулся и вышел.

Ах, не тут-то было!

— Не пускает, — утвердительно произнес мужчина в шапке с задранными ушами.

— Гнида старая, персидская, — объяснил я ему.

И тогда мужчина, которого никто об этом не просил, с большой охотой рассказал мне, что через проходную нынче никто не ходит, не пускают никого через проходную, а ходят нынче все сквозь забор, в ста шагах отсюда есть в заборе дыра, через нее все нынче и ходят, потому что кому это охота по Богородскому вдоль забора три версты крюка

давать, а так ты сквозь забор, через территорию и снова сквозь забор, и ты у винного.

Что мне оставалось делать? Я поблагодарил доброго человека и в точности последовал его указаниям. От пролома в заборе через занесенную снегом огромную территорию вела хорошо утоптанная дорожка. Справа от дорожки громоздилась какая-то законсервированная стройка, а слева возвышался пятиэтажный корпус белого кирпича с широкими школьными окнами. Видимо, это и был собственно институт. К нему от дорожки ответвлялась тропа, тоже хорошо утоптанная.

У входа в институт (широкое низкое крыльцо, широкая застекленная дверь под широким бетонным козырьком) трое мужчин, опять-таки без пальто и в шапках с задранными ушами, вскрывали контейнер, заляпанный иностранными надписями. Я миновал их, поднялся по ступенькам и вступил в вестибюль.

Это было обширное помещение, залитое светом ртутных ламп, и было в нем полно людей, которые, по-моему, ничем не занимались, а только стояли кучками и курили. Наученный горьким опытом, я никого ни о чем не стал спрашивать, а двинулся прямо к гардеробу, где разделся, держа на лице хмуро-озабоченное выражение и стараясь выставлять напоказ свою папку.

Потом я причесался перед зеркалом и

поднялся по лестнице на второй этаж. Почему именно на второй — я объяснить бы не сумел, да и не спрашивал никто у меня объяснений по этому поводу. Здесь тоже пол был покрыт плиткой, тоже сияли ртутные лампы, и тоже стояли кучками люди с сигаретами. Я высмотрел молодого человека, стоявшего отдельно. У него тоже было хмуро-озабоченное выражение лица, и я подумал, что уж он-то не станет выяснять, кто я, зачем я здесь и имею ли я право.

Я не ошибся. Он рассеянно, даже не глядя на меня, объяснил, что Мартинсон, скорее всего, у себя в нужнике, это на третьем этаже сразу за скелетами направо, а номер нужника — тридцать семь.

Никаких скелетов я на третьем этаже не обнаружил, не знаю, что имел в виду молодой человек с образной речью, а нужник номер тридцать семь оказался большой, очень светлой комнатой. Было там множество стекла и мигающих огоньков, на экранах, как и положено, змеились зеленоватые кривые, пахло искусственной жизнью и разумными машинами, а посередине комнаты, спиной ко мне, сидел какой-то человек и громко разговаривал по телефону.

— Брось! — гремел он. — Какой закон? Напирай плотней! Оставь! При чем здесь Ломоносов — Лавуазье? Главное, напирай плотней!

Потом он бросил трубку, повернулся ко мне и рявкнул:

— В местком, в местком!

Я сказал, что мне нужен Иван Давыдович. Он налился кровью. Был он огромен, плечист, с могучей шеей и с всклокоченной пегой шевелюрой.

— Я сказал — в местком! — гаркнул он. — С трех до пяти! А здесь у нас разговора не будет, вам ясно?

— Я от Кости Кудинова, — произнес я.

Он как бы споткнулся.

— От Кости? А в чем дело?

Я рассказал. Пока я рассказывал, он встал, обошел меня и плотно закрыл дверь.

— А вы, собственно, кто такой? — спросил он. Краска ушла с его лица, и теперь он был скорее бледен. В глаза он мне не смотрел.

— Я его сосед.

— Это я понял, — сказал он нетерпеливо. — Кто вы такой, вот что я спрашиваю...

Я представился.

— Мне это имя ничего не говорит, — объявил он и уставился мне в переносицу. Глаза у него были черные, близко посаженные, двустволка, да и только.

Я разозлился. Черт подери! Опять меня заставляют оправдываться!

— А мне ваше имя тоже, между прочим,

ничего не говорит, — сказал я. — Однако вот я через всю Москву к вам перся...

— Документ у вас есть какой-нибудь? — прервал он меня. — Хоть что-нибудь...

Документов у меня не было. Не ношу. Он подумал.

— Ладно, я сам этим займусь. В какой, вы говорите, он больнице?

Я повторил.

— Чтоб его там... — пробормотал он. — Действительно, другой конец Москвы... Ну, ладно, идите. Я займусь.

Внутренне клокоча, я повернулся, чтобы идти, и уже взялся за дверную ручку, как он вдруг спохватился.

— Па-азвольте! — пророкотал он. — А как же вы сюда попали? Без пропуска! У вас даже документов нет!

— А через дыру! — сказал я ядовито.

— Через какую дыру?

— А в заборе! — сказал я мстительно и вышел. Весь в белом.

Я спускался по лестнице, когда меня поразила ужасная мысль: а вдруг этот лютый Мартинсон как раз сейчас звонит по телефону и через минуту ко всем дырам в заборе побегут вохровцы вперемежку с плотниками, и я окажусь в мешке, как какой-нибудь битый Паулюс... Не удержавшись, я

побежал сам, мысленно снова и снова проклиная Костю Кудинова с его ботулизмом и свою хромую судьбу. Только заметив, что на меня оглядываются, я сумел взять себя в руки и появился перед гардеробщиком как подобает деловому, хмуро-озабоченному человеку с карманами, набитыми пропусками и документами.

Спустившись с крыльца, я почему-то оглянулся. Сам не знаю почему. И вот что я увидел. За стеклянной дверью, упершись в стекло огромными ладонями и выставив бледное лицо, пристально смотрел мне в спину Иван Давыдович Мартинсон, собственной персоной. Словно вурдалак вслед ускользнувшей жертве.

Стыдно признаться, но я снова перешел на бег. Несмотря на мои сосуды. Несмотря на мое брюхо. Несмотря на мою перемежающуюся хромоту. Лишь когда я, нырнув в дыру, вынырнул на Богородском шоссе, чувство собственного достоинства моего возопило наконец, и я перешел на шаг, застегивая куртку и поправляя сбившуюся шапку. Очень не нравилось мне это приключение, и особенно не нравился мне Иван Давыдович Мартинсон, и я снова и снова проклинал Костю с его ботулизмом и давал себе клятву, что впредь никогда, и никто, и ни за что...

После всех этих передрыг не могло быть и речи о том, чтобы ехать на Банную. Только в Клуб.

Только в Клуб! В наш ресторанный зал, обшитый коричневым деревом! В атмосферу прельстительных запахов! За мой столик под крахмальной скатертью! Под крылышко к Сашеньке... хотя нет, сегодня нечетный день. Значит, под крылышко к Аленушке! Правильно, и сразу же отдать ей долг, и заказать селедочку, масляно поблескивающую, жирную, тающую, ломтиками, посыпанную мелко нарезанным зеленым лучком, а к ней три-четыре горячих рассыпчатых картофелины и тут же кубик масла прямо из ледяной воды, и пузатый графинчик (нет-нет, без этого не обойдется, я это заслужил сегодня)... и еще соленые грузди, сопливенькие, в соку, вперемешку с репчатым луком кольчиками, и по потребности минеральной... или пива?.. нет, минеральной... А притушив первый голод и взвинтив в себе настоящий аппетит, мы обратимся к солянке мясной, которую у нас в Клубе, к счастью, готовить еще не разучились, и будет она у нас в тусклом металлическом бачке, янтарная, парящая, скрывающая под поверхностью своею деликатесные мяса разного вида и черные лоснящиеся маслины... Батюшки, главное чуть не забыл! Калач! Наш знаменитый клубный калач с ручкой для держания, пухлый, мягкий, поджаристый... и парочку надо будет прихватить с собою домой. Ну-с, теперь второе...